
Для звонков моих и для сообщений
не оправдан любой предлог.

У меня есть лишь двор –

мой немой священник,

что от исповедей продрог.

Разве думал, что столько гордыни, гнева,
я сумею в себя вместить –

что пришлось ко двору, не придётся к небу,
звёздам, падая, не вмастить.

Что ты думаешь, двор, про мои обиды
на любимых да на родных?

Грустно скрипнешь качелью,

качнёшь рябиной,

чтоб спокойнее мне от них

стало, и я присел на твоей скамейке.

И вернулся к делам земным.

И решил о любви, и забыл о смерти,

и любимым

писал,

звонил.

Узелок на тесьме капюшонной
завязала мне ты так давно,
будто прошлое с предрешённым
затянула в тугое одно.

Сколько ни забывал я твой контур,
запрещал тебе снится и звать,
до сих пор я ношу эту кофту
и боюсь узелок
развязать.

Я помню, как мир красив,
я был к красоте так близко,
встречая рассвет в KFC
в дождливом Новосибирске.
Я ищущим всем сулил,
что каждый из них обрящет.
Ведь сам отыскать сумел
безумство твоих кудряшек
и шёпотов прямоу,
так взывшую под лопаткой,
что слово «люблю» во рту
опять не казалось гадким.
И я не хотел трезветь
от нас, беспощадно близких.
По стёклам хлестал рассвет,
и в вечность летели брызги.
О чём-то зевал кассир,
стеснённый свободой кассы.
Я помню, как мир красив.
Я помню, как ты
прекрасна.

Серы мои оттенки,
рифмы мои вредны.
Я не могу быть тем, кто
нужен моим родным.
Скалюсь зубами к стенке,
чтобы не шла грызня.
Я не могу быть тем, кто
нужен моим друзьям.
Те и другие терпят,
кроме одной главы:
я не могу быть тем, кто
нужен моей любви.
Видимо, я напрасно

там, где зря не зря.

Я так стараюсь в разном,
но получаюсь
я.

Как снег над рекой кружится!

Надень на трико джинсы,
в метельное
джиу-джитсу
нырни –

смотреть, как зима сложила
галактиками снежинок
и космос,
и дрожь поджилок
над ним.

Да, дни, как таланта сёстры,
но хвоя в стволах трясётся
так верно,
что бог с ним, с солнцем.

С жарой.

В нас тоже лучи бурлят, и
сердца – как в ночи гирлянды,
от этого
мир нарядный!
Живой!

Я атеист и материалист,
но считаю, что совесть –
это ангелы, которые
ведут тебя под руки туда,
куда ты должен идти.
Совесть – это твоё
любящее сердце,
которое не признаёт ничего,
кроме любви.
А когда ты идёшь против
своей совести, то ангелы
начинают казаться тебе демонами,
которые разрывают тебя на куски.
Совесть начинает казаться тебе
больной кровотокающей язвой
двенадцатиперстной кишки.
И ты пытаешься поверить,
что муки совести –
это необходимые страдания,
которые делают из тебя человека.

Но на самом деле совесть –
это твои любовь и радость,
которые просят тебя
любить и радовать.

Шёл сентябрь, небо тёр серой тушью.
В нём, несмелом на бесстыдство и блажь,
я решил подарить тебе душу,
хоть к учёбе ты просила гуашь.
Шёл сентябрь, вместо льна пахло щербнем,
соцсетям вернулась жажда бесед.
Я решил на одно сообщение,
что могло перечеркнуть наши все.
Шёл сентябрь, будто был бесконечен.
Шаг к тебе – и он же шаг от тебя.
В нём остались робость губ,
дрошь предплечий.
А потом пришёл черёд октября.

Мир кричит мне: рискуй, воюй,
брось межгорода марафоны!
Но опять я тебе звоню
невменяемостью смартфонной.
Что-то глупое говорю.
Что-то нежное отвечаешь.
Как ослепший к поводырю,
сквозь сгустившееся отчаянье
я тянусь к тебе болтовнёй.
Больше нечем, лишь словом, слухом.
Пусть рассказан я был давно
весь тебе и сплошным разлукам,
но прошу разговора, длю –
на заминку, на скрип кушеткой.
Хоть совсем уже не рублю,
а блуждаю по пояс в щепках.
Ты минуту ещё побудь
здесь – на линии тёплой точкой,
и коротких гудков пальбу
не вверяй мне под рёбра точно.
А спустя – как бы мир ни пел,
закрывая просторы ливнем,
будет вдруг нелегко тебе,
обязательно позвони мне.

Ты говоришь: уйди, но останься,
и я, уходя, остаюсь.
Я остаюсь, ожидая на станции
пóезда в боль свою.
В праздничной пробке ползёт гирляндой
сутолока машин.
Я остаюсь, из вагона глядя,
главное – не маши.
Мне ничего от тебя не нужно,
я остаюсь с тобой
не адресатом, не сном, не мужем –
без проводов столбом.
В шаге от смерти, в строке от правды,
в тысячах смятых дней –
я выхожу из твоей парадной
и остаюсь за ней.
Чёрствы корки сжимая сонно
пальцами у груди,
я остаюсь, улыбаюсь, словно
даже не уходил.
Я остаюсь до случайной встречи
в чёрт-те каком году.
Я остаюсь, остаюсь, родная,
больше я
не уйду.

Когда отключают горячую воду,
мы греем большие кастрюли
на газплите.
И я поливаю твоё обнажённое тело
из садовой лейки, стоя на табурете.
Это выглядит забавно и трогательно,
эротично, но в то же время буднично.
И сколько бы мы с тобой ни пережили,
всегда в эти моменты я чувствую,
что ты доверяешь мне что-то
очень-очень важное.
Чувствую, что снова влюбляюсь
в тебя, как в студенчестве.
Будто не было всех этих лет,
расстояний и расставаний,
слёз и списков покупок,
ревности и смирения,
а только бесконечное лето впереди.
И я надеюсь в эти моменты,
что горячую воду нам с тобой
не вернут никогда.

Вас, оправданных
за оградкой,
не звать обратно
не могу: я тоскую, братья.
Из всех ангин
хрипну соснам, как будто
создан
из боли, сёстры,
будто мир оказался
острым,
а я нагим.
Как стреноженному
тревогой
узлов не трогать,
ваших кончившихся
трилогий
спин-оффом петь.
Помнить ваших молитв
реванши
у кшатрий, вайшьи,
говорить себе: ну, давай
же,
учись терпеть.

Дни ребристы,
под твоей блузкой
шершавая музыка –
не кожа, не бельё.
В радость бриться,
рассветы лузгать,
изливать душу, зная –
дольём.
Оказалось просто
стряхивать прошлое
пеплом и танцами.
Только знаешь,
лишь одна просьба:
моя хорошая,
завтра не выходи за меня
замуж.

Я тоже морщусь,
когда обо мне
говорят хорошее.
Я слишком себя помню,
чтобы верить
забывающим.

Дорогая, прошло уже три недели,
как декабрь разлёгся у нас в постели.
Прихожу с работы, он всё лежит,
ему слова лишнего не скажи.
Разбросал повсюду свои сугробы,
и такое один разгрести попробуй.
В трактора бы позвать здесь весну,
Гольфстрим –
до таких минусов с декабрём острым.
А потом засыпаем под вой метели
эти бесконечные три недели.
Дорогая, закончился третий месяц,
как декабрь пускает лавины с лестниц.
Снегопад – на лифте, окно – как прорубь.
И такое один пережить попробуй.
Весь наш дом – ледяной городок

в гирляндах,

да в буранах безжизненных, непроглядных.
На работе теплей, там хотя бы март,
от начальства – бодрящие шах и мат.
Дорогая, я сбился давно со счёта,
как не чувствую наши сердца и щёки,
как бушует декабрь без сна и меры.
Но откуда, не знаю, во мне есть вера
в то, что грозный декабрь не так уж плох,
что однажды и он принесёт
тепло.

Я заперт на карантин
от кожи твоей и тока,
чтоб вновь не закоротил
на тонком.
Под липким и кружевным
ты сплошь – оголённый провод,
да так, что уйти живым
попробуй.
Твой крайне обманчив
май,

кричащий – без звона
связок –
всем видом своим:
«Снимай всё сразу!» –
что хочется из квартир
нестись на твои аллеи.
Но заперт на карантин.
От этого и болею.